

ФИЛОСОФСКІЙ СБОРНИКЪ.

Льву Михайловичу

ЛОПАТИНУ

118664

къ тридцатилѣтію научно-педагогической
дѣятельности.

Отъ Московскаго Психологическаго Общества.

X

1881—1911.



АННУЛИРОВАНО

| в

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Кн. Евгений Трубецкой.—Возвращение къ философии	1
С. Булгаковъ.—Природа науки	10
В. Эринъ.—Критика кантовского понятія истины	49
В. М. Хвостовъ.—О значеніи философії и психології для юриспруденції . .	62
С. Аскольдовъ.—Ідея справедливости въ христіанствѣ	76
С. Котляревскій.—Объ относительномъ и абсолютномъ	97
С. Франкъ.—Къ теорії конкретного познанія	108
Н. Лосскій.—Органическая и неорганическая міровоззрѣнія	128
А. Огневъ.—Пантезизмъ и панлогизмъ	147
Ан. Петрова.—Ідея жизни въ идеалистической и позитивной этикѣ	181
А. Щербина.—Значеніе этики въ системѣ высшаго образования	214
Петръ Струве.—Къ проблемѣ „основного дуализма“ общественно-экономиче- скаго процесса	224
Б. Кистяковскій.—Рациональное и иррациональное въ правѣ	230
Г. Шпеттъ.—Одинъ путь психології и куда онъ ведеть	245
Г. Челпановъ.—Объ измѣримости психическихъ явлений	265
П. Новгородцевъ.—Ученіе Платона о естественномъ правѣ	282
П. Соколовъ.—Проблема безсознательного въ психології	291
Н. Виноградовъ.—Давидъ Гертли и его „Наблюденія надъ человѣкомъ“ . .	301
Вл. Ивановскій.—Объ изученіи прошлаго философіи	318

Къ теоріи конкретнаго познанія.

„Во всемъ, почти во всемъ, что я писалъ, мною руководила потребность собранія мыслей, съединенныхъ между собой для выраженія себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряетъ свой смыслъ, страшно понижается, когда берется одна и безъ того съединенія, въ которомъ она находится. Само же съединеніе составлено не мыслью (я думаю), а чѣмъ-то другимъ, и выразить основу этого съединенія непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, положенія, дѣйствія“.

Такъ говоритьъ Левъ Толстой, обосновывая этимъ разсужденіемъ невозможность для него отвѣтить на вопросъ Страхова, что именно онъ хотѣлъ сказать своимъ романомъ „Анна Каренина“ ¹⁾). „Если бы я хотѣлъ,—говорить онъ въ томъ же письмѣ,—сказать словами все то, что имѣлъ въ виду выразить романомъ, то я долженъ былъ написать романъ тотъ самый, который я написалъ сначала“. Поэтому „нужны люди, которые бы показывали безмыслицу отыскыванія отдѣльныхъ мыслей въ художественномъ произведеніи и постоянно руководили бы читателей въ томъ безконечномъ лабиринтѣ съединеній, въ которомъ и состоитъ сущность искусства“ ²⁾).

Въ этихъ немногихъ словахъ высказана, какъ намъ кажется—самая сущность искусства; она выражена, во всякомъ случаѣ, болѣе глубоко и мудро, чѣмъ въ извѣстной специальной работѣ Толстого на эту тему. Замѣчательно, что въ этомъ опредѣленіи при-

¹⁾ Письмо къ Н. Н. Страхову отъ 26 апр. 1876. Письма Л. Н. Толстого, собранные П. А. Сергеенко, т. I, 1910. стр. 118.

²⁾ Тамъ же, стр. 117 и 119.

роды художественного постижения Толстой совершенно сходится съ своимъ величайшимъ антиподомъ по міровоззрѣнію и съ однимъ изъ немногихъ художниковъ, достойныхъ стоять рядомъ съ нимъ—съ Гете. Слова Толстого даютъ совершенно точное описание той своеобразной художественной формы познанія, которая была присуща Гете и получила название „предметнаго мышленія“. Гете неустанно утверждалъ, что всякий анализъ, всякое раздробленіе предмета знанія на рядъ отдѣльныхъ понятій и сужденій уничтожаетъ самый объектъ знанія, ту „духовную связь“, которая образуетъ его основу, и что только конкретное знаніе, улавливающее реальность въ живомъ образѣ, даетъ подлинное постижение дѣйствительности ¹⁾). Это совпаденіе двухъ величайшихъ художниковъ, столь несходныхъ по своимъ натурамъ и міровоззрѣніямъ, во взглядѣ на природу знанія, выражаемаго въ искусствѣ, должно служить важнымъ внѣшнимъ свидѣтельствомъ въ пользу правильности этого взгляда даже для тѣхъ, кто не ощущаетъ непосредственно его истинности.

Для гносеологии здѣсь возникаетъ трудная и, думается намъ, плодотворная проблема. Какъ возможно *конкретное знаніе?* Конкретное знаніе, на которое, какъ мы видимъ, претендуетъ художникъ, есть знаніе, выраженное не въ сужденіяхъ (не въ „мысляхъ, выраженныхъ словами особо“, какъ говорить Толстой), а въ образахъ, въ которыхъ непосредственно дано логически невыразимое „сцѣпленіе мыслей“. Правда, мы привыкли безъ особыхъ затрудненій утверждать, что художникъ „мыслить образами“. Съ чисто психологической точки зрѣнія это дѣйствительно не содержитъ никакой трудности. Мы представляемъ себѣ поэта, какъ человѣка, одаренного сильнымъ зрительнымъ или инымъ воображеніемъ и умѣющимъ сообщать намъ свои впечатлѣнія или переживанія черезъ уподобленіе ихъ образамъ, съ которыми они связываются эмоциональной ассоціаціей. Когда, напр., поэтъ изображаетъ зарницы, какъ „бесѣду глухонѣмыхъ демоновъ“, или когда онъ уподобляетъ освобожденіе души отъ заблужденій отпаденію чужихъ, наносныхъ красокъ съ картины мастера, то эти сравненія, черезъ связь ихъ съ чувствами, помогаютъ намъ пережить эмоциональный колоритъ соответствующаго впечатлѣнія. Такъ художникъ имѣеть

¹⁾ Ср. нашу статью: „Изъ этюдовъ о Гете. Гносеология Гете“, въ *Русск. Мысли* 1910, № 8.

возможность косвенно высказать невыразимые непосредственно оттенки нашихъ переживаний. Но мы обычно не предполагаемъ, что эти оттенки настроений передаютъ природу самихъ объектовъ, т.-е. что „мышление образами“ есть действительное *познаніе*, „сцепленію мыслей для выраженія себя“ въ художественныхъ образахъ мы придаемъ только психологическое, но отнюдь не объективно-логическое или гносеологическое значеніе. Напротивъ, здѣсь, въ сужденіяхъ Толстого и Гете о познавательномъ значеніи художественного выраженія мыслей, утверждается, что искусство даетъ болѣе полное и объективное выраженіе *правды* и что всякое логическое уясненіе мыслей неизбѣжно понижаетъ мысль и лишаетъ ее смысла,—того смысла, который извѣстенъ художнику.

Съ точки зрења законовъ и нормъ логического (т.-е. дискурсивного) мышления такое утвержденіе прямо нелѣпо. Смысль познанія, совершаемаго въ сужденіяхъ, въ томъ и состоитъ, что, анализируя объектъ, мы выдѣляемъ въ немъ извѣстные признаки и, фиксируя ихъ въ объектѣ или предицируя ихъ ему, мы тѣмъ самымъ „познаемъ“ объектъ, т.-е. отдаемъ себѣ болѣе точный отчетъ въ немъ, чѣмъ когда онъ представлялся намъ не дифференцированнымъ цѣлымъ. Чѣмъ больше у насъ есть такихъ „мыслей, выраженныхъ словами особо“, тѣмъ полноѣше наше знаніе; представлениe же или образъ, не дифференцированный въ сужденіи, вообще не содержитъ знанія. Конечный идеалъ знанія состоитъ въ разложеніи всего конкретнаго на отвлеченные признаки и въ постиженіи его, какъ совокупности или системы такихъ признаковъ. При этомъ высшій законъ дискурсивного мышления, законъ тождества, утверждаетъ, что каждый признакъ имѣть самъ по себѣ абсолютно определенное и тождественное себѣ содержаніе,—все равно, мыслится ли онъ обособленно или какъ часть болѣе сложнаго цѣлага, въ которомъ онъ содержится. Этотъ законъ, такимъ образомъ, обеспечиваетъ намъ, что производимый нами анализъ ничего не измѣняетъ въ объектѣ, не прибавляетъ къ нему ничего субъективнаго и, съ другой стороны, ничего не уничтожаетъ въ немъ, а точно воспроизводить его собственную природу. Мысленно обособляя какой-либо признакъ *a* въ составѣ сложнаго представлениa *abc* и впредь отчетливо распознавая его въ послѣднемъ, мы хотя и совершаємъ нѣкоторую умственную операцию надъ объектомъ, но именно такую, которая касается не самого объекта, а только нашего познавательного отношенія къ нему и лишь уясняетъ намъ то, что содер-

жалось въ объектѣ до всякаго анализа. Мы, конечно, уничтожаемъ этимъ актомъ тотъ ирраціональный комплексъ, какимъ представлялся намъ объектъ до анализа, и замѣняемъ его синтезомъ логически расчлененныхъ элементовъ; мы какъ бы раздѣляемъ иѣ—которое единство на части и снова складываемъ его изъ нихъ, при чемъ въ этомъ процессѣ намъ впервые уясняется механизмъ этого единства. Но такъ какъ, согласно закону тождества, природа каждой такой части тождественна самой себѣ, т.-е. независима отъ сочетаній, въ которыхъ она вступаетъ съ чѣмъ-либо инымъ, то конечный продуктъ этой операции—объектъ, различенный и состоящій изъ отдельныхъ частей—долженъ быть также тождественъ самому себѣ; измѣнилось—но именно обогатилось и уяснилось—лишь наше знаніе о немъ, а не онъ самъ.

Отсюда слѣдуетъ, что утвержденіе, будто мысли „выражаютъ себя“ только черезъ „сцѣпленіе между собой“ и теряютъ смыслъ виѣ этого невыразимаго словами сцѣпленія, противорѣчить основному закону отвлеченнаго знанія, который не только допускаетъ, но и требуетъ расчлененія „сцѣпленныхъ между собою мыслей“, при чемъ этимъ расчлененіемъ нисколько не умаляется содержаніе мыслимаго. Какъ разрѣшить этотъ споръ между требованиями отвлеченнаго знанія и притязаніями знанія художественнаго? Самое простое было бы—признать исключительную правоту одной изъ спорящихъ сторонъ и всецѣло отвергнуть требования другой. Такъ, по большей части, и поступаютъ люди науки въ отношеніи художественной правды и служители искусства—въ отношеніи правды научной. Всего легче это сдѣлать въ отношеніи художественнаго мѣрила истины. Ибо, такъ какъ художественное познаніе интуитивно и по самой своей природѣ ничего не можетъ логически доказать, то очень легко побить этого противника логическими аргументами. Однако легкость такой победы есть лишь оборотная сторона ея призрачности. Ибо она основана на безмолвномъ дѣлѣніи абсолютнаго и универсальнаго значенія логическихъ критеріевъ, т.-е. именно того, что подлежитъ рѣшенію въ этомъ спорѣ. И кто хоть однажды углубилъ и обогатилъ свое знаніе жизни чрезъ усвоеніе смысла художественного произведенія—не говоря уже о тѣхъ, кто способны самостоятельнымъ творчествомъ достичь истины на этомъ пути,—того никакие логические аргументы не разубѣдятъ въ достовѣрности формы знанія, присущей искусству. Съ другой стороны, можно было бы попытаться признать

условными и субъективными законы дискурсивного мышления. Но поскольку такая попытка стремилась бы обосновать себя на каком-либо прямом доказательстве, она неизбежно была бы произвольной и несостоятельной; ибо доказательство такого утверждения само опиралось бы, именно въ качествѣ доказательства, на тѣ критеріи, которые оно пытается опровергнуть, и, следовательно, вертѣлось бы въ ложномъ кругу. Очевидно, объективное решеніе этого спора возможно только черезъ разсмотрѣніе познавательного значенія того и другого пути. Если бы оказалось, что обѣ формы знанія могутъ послѣдовательно, т.-е. безъ нарушенія своихъ основныхъ принциповъ, доводить познаніе до его послѣдней цѣли, то пришлось бы утвердить правомѣрность ихъ обѣихъ, какъ двухъ равноправныхъ формъ знанія. Первенство же одной изъ нихъ могло бы быть показано, если бы уяснилось, что другая, противоположная ей форма есть какъ бы лишь обходный путь, который только на нѣкоторомъ этапѣ уклоняется отъ большой дороги и затѣмъ снова соединяется съ ней.

Прежде всего надлежитъ опредѣлить своеобразіе художественной формы знанія. Если исходить при этомъ изъ указанного выше отрицательного ея опредѣленія, какъ формы, противоположной отвлеченному знанію, то необходимо подчеркнуть, что художественное знаніе *не состоитъ* изъ сужденій. Ибо всякое суждение, какъ мы видѣли, предполагаетъ именно то выдѣленіе отвлеченныхъ признаковъ изъ сложного цѣлага, противъ которого возстаетъ поэтическое постиженіе. То обстоятельство, что словесно поэтическое произведеніе состоитъ изъ предложенийъ, которыхъ съ логической точки зрѣнія выражаютъ сужденія, не должно вводить насъ въ заблужденіе. Во-первыхъ, поэтическія произведенія могутъ обходиться и безъ такихъ сужденій и выражаться, напр., въ вопросительныхъ или восклицательныхъ предложенияхъ, въ которыхъ нельзя усмотреть логическихъ сужденій, и тѣмъ не менѣе давать намъ въ итогѣ ту форму знанія, которая вообще присуща искусству; укажемъ, для примѣра, на гейновское стихотвореніе „Warum sind die Rosen so blass?“ или на стихотвореніе Ал. Толстого: „Край ты мой, родимый край!“ И во-вторыхъ—что самое существенное—сужденія суть только средства, но никакъ не итогъ художественного постиженія. Итогъ же этотъ данъ—возвращаясь снова къ классическому описанію Льва Толстого—въ томъ сцеплѣніи мыслей, которое само „составлено не мыслью“ и потому вы-

разимо только черезъ описание „образовъ, дѣйствій, положеній“. Рассматривать художественное произведеніе какъ систему сужденій и умозаключеній—значить уподобиться тому анекдотическому немецкому ученому, который, прослушавъ бетховенскую симфонію, спросилъ: „Was wird damit bewiesen?“ Наоборотъ, вполнѣ ясно, что поэтическое произведеніе въ этомъ отношеніи ничѣмъ не отличается отъ произведеній пластическихъ искусствъ или музыки: оно даетъ не сужденія, а образы, пропитанные настроениемъ. Но тутъ и возникаетъ самый существенный вопросъ: какъ могутъ образы содержать истину и давать знаніе? Во всякомъ, безъ исключения, знаніи имѣется усмотрѣніе общаго. Индивидуальное, какъ таковое, можетъ быть только предметомъ знанія, но никогда не его содержаніемъ. Отсюда слѣдуетъ, что и въ искусствѣ индивидуальное имѣть значеніе не какъ таковое, а также лишь какъ выраженіе общаго. Но, тогда какъ отвлеченнное знаніе отыскиваетъ общее въ индивидуальномъ черезъ расчлененіе послѣдняго на отвлеченные признаки, художественное знаніе *устраиваетъ* общее въ самомъ индивидуальномъ, т.-е. въ его неразложимомъ единствѣ. То невыразимое словами (т.-е. неразложимое на сужденія) *общее впечатлѣніе*, которое мы получаемъ отъ своеобразной взаимозависимости чертъ художественного образа, и составляетъ наше общее знаніе, приобрѣтаемое черезъ художественную интуицію. Общее здѣсь не отрѣшено отъ индивидуального, не входитъ въ его составъ, какъ логически отдѣлимая его часть; и индивидуальное есть не примѣръ или частный случай общаго; напротивъ, индивидуальное есть подлинное воплощеніе общаго, которое проявляется въ живой неразрывной связи всѣхъ его частныхъ опредѣленій. Эта форма общаго есть, въ отличіе отъ отвлеченного понятія, *символъ*, т.-е. общее, выраженное въ конкретно-индивидуальномъ видѣ, и въ этомъ смыслѣ всякое искусство символично. „Истинная символика,—говорить Гете,—состоитъ въ томъ, что частное выражаетъ общее, не какъ мечта и тѣнь, а какъ живое мгновенное откровеніе непостижимаго“. Художественное познаніе ничего не *доказываетъ* и не *объясняетъ*: оно только *показываетъ*. Въ самомъ конкретномъ оно *видитъ* ту основу или сущность, проявленіемъ которой служить это конкретное.

Съ психологической точки зрењія художественное познаніе есть, такимъ образомъ, всегда интуиція, потому что не нуждается въ отвлеченнномъ обоснованіи и не допускаетъ его. Тѣмъ не менѣе для

гносеологии остается возможнымъ отвлеченно формулировать тотъ постулатъ, изъ котораго безсознательно исходитъ художественное постиженіе. Если Кантъ опредѣлилъaprіорныя условия возможноти математики и естествовѣдѣнія, какъ знанія, то такая же задача можетъ и должна быть разрѣшена и относительно искусства: какъ возможно художественное знаніе, т.-е. какія посылки лежатъ въ его основѣ и оправдываютъ его? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, думается намъ, ясно вытекаетъ изъ описанія природы художественного знанія: конкретное знаніе, присущее искусству, описывается на допущеніе сущностей или силъ, которые сами въ себѣ несутъ основанія своего индивидуально-конкретнаго проявленія. Дальнѣйшее, болѣе точное опредѣленіе этихъ сущностей не только не требуется художественнымъ постиженіемъ, но и прямо противорѣчитъ его природѣ: ибо нельзя заранѣе опредѣлить, какая область явлений будетъ художественно фиксирована какъ проявленіе одной изъ такихъ сущностей, и всякий новый и оригинальный художникъ отыскиваетъ новые сущности и показываетъ ихъ въ новыхъ сочетаніяхъ явлений. Существенно здѣсь лишь одно: сама мысль, что конкретное явленіе и группировка индивидуальныхъ чертъ суть не случайные примѣры обнаруженнія общаго, а необходимо вытекаютъ изъ природы („Ugrahypothes“ Гете). Анализируя эту мысль, мы можемъ разложить ее на два относительно самостоятельныхъ сужденія. Первый посулътъ конкретнаго знанія состоить въ томъ, что отдѣльные признаки или черты, констатирующіе индивидуальный образъ, соединены между собой не случайно, а внутренне необходимо, т.-е. что изъ сущности цѣлаго вытекаютъ его частные признаки. Второй посулътъ, тѣсно связанный съ первымъ, утверждаетъ, что и самый характеръ связи или отношений между этими чертами также опредѣляется природой цѣлаго. Эти два положенія, мыслимые вмѣстѣ и интуитивно осознанныя, и составляютъ основную мысль конкретнаго познанія, согласно которой явленіе должно быть постигнуто не какъ случайная комбинація или сумма отдѣльныхъ отвлеченныхъ признаковъ, а какъ живое единство, элементы котораго не отъединились другъ отъ друга и отъ формъ ихъ взаимной связи.

То, что здѣсь разумѣется, есть, въ сущности, идея *живого*, въ отличіе отъ мертваго или механическаго. Кантъ (и отчасти уже Аристотель) отмѣтилъ глубокую аналогію между художественнымъ

и органическимъ, основанную на присутствіи въ томъ и другомъ зависимости частей отъ идеи цѣлаго. Прослѣживая далѣе, какимъ образомъ части и ихъ взаимозависимость могутъ опредѣляться цѣлымъ, мы приходимъ къ идеѣ *творческой необходимости*, отличной отъ необходимости логической и ея отраженія въ реальности—необходимости механической¹⁾). Уразумѣть сполна конкретное многообразіе значитъ понять его, какъ необходимое проявленіе нѣкоторой единой сущности, которая можетъ обнаруживать и осуществлять себя именно только въ этомъ конкретномъ многообразіи. Но такъ какъ логически мы не можемъ вывести изъ какого-либо опредѣленія чего-либо иного, отличного отъ него, и такъ какъ механическое объясненіе есть лишь попытка, устранивъ многообразіе формъ и проявленій, понять каждое состояніе какъ тождественное въ своей основѣ прежнему (именно, какъ продолженіе движения),—то всякое сознаніе необходимости *новаго, иного*, всякое постиженіе многообразія, какъ результата единой силы или сущности, по существу ирраціонально и изъяснимо лишь черезъ символъ творчества. Живое и творческое (оба эти понятія, въ конечномъ итогѣ, имѣютъ тождественное значеніе) есть единственная форма, черезъ которую мы интуитивно уразумѣваемъ, какъ изъ единаго проистекаетъ конкретное многообразіе. Законъ *творчества* или *саморазвитія*, который гласить, что всякое сущее потенциально содержитъ въ себѣ и съ необходимостью проявлять определенное конкретное многообразіе формъ и связей,—таковъ высшій законъ конкретнаго познанія, аналогичный въ немъ логическимъ законамъ отвлеченного знанія. И изъ этого закона вытекаетъ практическая норма конкретнаго знанія: всякое многообразіе должно быть уяснено, какъ внутренне-необходимое, т.-е. какъ опредѣляемое той единой сущностью, проявленіемъ которой оно служить.

Если мы теперь посмотримъ, какъ относится это высшее правило конкретнаго знанія къ нормамъ отвлеченного знанія, то легко увидѣть, что, несмотря на отмѣченное выше расхожденіе между ними, въ основѣ обѣихъ формъ знанія лежитъ одинъ высшій законъ—именно законъ *достаточнаго основанія*. Законъ достаточнаго основанія, въ самой общей своей формѣ, опредѣляетъ всякое

¹⁾ Ср. Лопатинъ. Положит. задачи философіи, т. I (1 изд.), стр. 261—268 и passim.

знаніе и требуетъ, чтобы все было постигнуто какъ *необходимое*; все случайное, только данное и констатируемое онъ превращаетъ въ проблему, въ задачу знанія, и побуждаетъ мысль не останавливаться на данномъ, какъ таковомъ, а „уразумѣть“ его, т.-е- свести къ необходимому. Въ этомъ состоитъ активная, творческая природа всякаго знанія; всякое данное есть для него лишь исходная точка для переработки и выраженія его въ новой формѣ, проникнутой началомъ необходимости. Поэтому и художникъ въ своемъ созерцаніи, конечно, не пассивно повторяетъ данное, а творчески преобразуетъ его, въ этомъ отношеніи не отличаясь отъ мыслителя, для котораго данное есть также лишь отправная точка при построеніи новой картины міра. И если говорятъ, что художникъ „созерцаєтъ“, а не „мыслитъ“, то въ этомъ содежится лишь противопоставленіе двухъ описанныхъ нами родовъ познанія, ибо „созерцаніе“ художника именно и есть его мышленіе и отнюдь не тождественно съ пассивнымъ констатированіемъ данныхъ элементовъ.

Но этой общностью закона достаточного основанія для обѣихъ формъ знанія и ограничивается сходство между ними. Намѣчающая этимъ закономъ цѣль—понять все данное, какъ необходимое—осуществляется въ конкретномъ и отвлеченномъ знаніи, какъ мы видѣли, разными путями. Если норма конкретнаго знанія состоять въ требованіи уяснить необходимость всякаго многообразія, какъ проявленія развивающейся конкретной сущности, то норма отвлеченного знанія требуетъ, напротивъ, объясненія многообразія, какъ результата отвлеченно-общихъ элементовъ. Это требование можетъ быть, аналогично постулату конкретнаго знанія, разложено на двѣ частные задачи: 1) отвлеченное знаніе должно объяснить само многообразіе, т.-е. совокупность качественныхъ элементовъ данного, и 2) оно должно объяснить форму ихъ связи или природу отношеній между ними. Можно, однако, показать, что въ обоихъ этихъ отношеніяхъ отвлеченное знаніе *не можетъ осуществить до конца* своихъ задачъ.

Что касается первой задачи, то стало уже трюизмомъ логической науки, что индивидуальное, какъ таковое, не выводимо изъ общаго. Господствующая логическая формулировка этого положенія, восходящая еще къ Лейбницу, выражаетъ это слѣдующимъ образомъ: всякое общее знаніе состоитъ въ гипотетическихъ сужденіяхъ, утверждающихъ зависимость одного данного (качества,

события, состояния) отъ другого; для того чтобы вывести изъ этого знанія опредѣленный фактъ, нужно къ гипотетическому общему сужденію присоединить категорическое сужденіе, утверждающее наличность основанія, т.-е. того, изъ чего, согласно гипотетическому сужденію, вытекаетъ данное слѣдствіе. Данный фактъ А объясненъ, когда у насъ есть два сужденія: „если есть В, то есть и А“ и „В есть“. Очевидно, что такое знаніе сводитъ, по законамъ необходимой связи, одни явленія къ другимъ, въ отношеніи которыхъ всегда возникаетъ тотъ же вопросъ: если мы объяснили, т.-е. показали необходимость явленія А, то теперь мы вмѣсто него имѣемъ явленіе В, которое само по себѣ столь же мало необходимо, какъ и А. Факты, слѣдовательно, никогда сами не вытекаютъ изъ общихъ законовъ, а всегда лишь на основаніи общихъ законовъ вытекаютъ изъ другихъ фактовъ, и какъ бы далеко ни шло такое объясненіе, оно всегда опирается на необъяснимое далѣе фактическое состояніе. И лишь совершенно смутное, логически не уясненное воззрѣніе можетъ полагать, что „законы природы“ даютъ дѣйствительное *объясненіе*, т.-е. показываютъ необходимость всего совершающагося.

Впрочемъ, это соображеніе само по себѣ недостаточно, чтобы показать, что индивидуальное многообразіе не выводимо изъ общаго. Пусть остается необъяснимымъ постулатомъ знанія, что нѣкоторое первоначальное А существуетъ; но если бы можно было показать, что изъ этого А вытекаетъ В, изъ В—С, изъ С—Д и т. д. то сложное многообразіе ABCD было бы все же сведено къ единому общему—къ А. Но именно это и невозможно. Какимъ образомъ можно изъ анализа природы А показать, что оно есть ABCD? Одно изъ двухъ: или В, С, Д есть нѣчто *иное*, чѣмъ А, тогда они не выводимы изъ него; или же они скрыто содержались въ А, и тогда, въ сущности, мы не свели комплекса ABCD къ А, а просто констатировали его сложный составъ. Правда, въ наукѣ мы пользуемся индуктивно добытыми утвержденіями: изъ А слѣдуетъ В и т. д., безъ того, чтобы утверждалось тождество между А и В. Но всякое подлинное логическое *доказательство* такого положенія, каковымъ, какъ известно, никогда не можетъ быть сама индукція, возможно не иначе, какъ черезъ отождествленіе А съ В. Парадоксальность, которая лежитъ въ основѣ сужденія „А есть В“ въ смыслѣ „А тождественно В“ (тогда какъ А можетъ быть тождественно только самому себѣ),—эта парадоксальность не есть

результатъ какой-либо неправильной логической теоріи, а есть подлинная загадка, стремленіе къ преодолѣнію которой движетъ наше познаніе. Внѣ этой загадки, внѣ необходимаго для мысли требованія „объяснить“ всѣ синтетическія сужденія, т.-е. свести ихъ къ аналитическимъ, не существовало бы всей научной работы, которая отъ эмпирическихъ правильностей восходитъ къ болѣе общимъ, непосредственно не наблюдаемымъ законамъ. Задача эта относительно, т.-е. неполно, осуществляется, если А и В оба сводятся къ чему-то третьему, напр., къ С; тогда усматривается частичное тождество между А и В, тогда какъ то, чѣмъ они отличаются другъ отъ друга, либо оставляется безъ разсмотрѣнія, какъ необъясненный остатокъ (такъ по большей части дѣлается въ специальныхъ наукахъ, которые возлагаютъ задачу объясненія этого остатка на отвѣтственность какой-либо иной науки), либо же просто объявляется несуществующимъ, „субъективнымъ“. Отвлеченнное знаніе, такимъ образомъ, достигаетъ объясненія только посредствомъ *упрощенія* своего объекта, т.-е. игнорированія его многообразія. Это вполнѣ законно въ специальныхъ наукахъ, но въ общей системѣ знанія означаетъ все же отказъ отъ подлиннаго объясненія. Практически весьма цѣнно, напр., сведеніе многообразія чувственныхъ качествъ къ одному общему признаку движения, т.-е механическое объясненіе дѣйствительности; но это „сведеніе“, въ сущности, не объясняетъ загадку многообразія качествъ, а только переносить ее въ иную инстанцію, напр., психологію. Работа, производимая логическимъ анализомъ, сводится всегда къ расчлененію объекта на его болѣе простые—въ конечномъ счетѣ простѣйшіе элементы; и это расчлененіе, конечно, вскрываетъ тождества тамъ, где они не были замѣтны до анализа, и въ этомъ смыслѣ содержитъ подлинное объясненіе. Но это объясненіе никогда не можетъ быть всеобъемлющимъ, ибо никогда тождество не можетъ идти такъ далеко, чтобы устранить всякия различія. Болѣе того, это тождество никогда не можетъ даже уменьшить многообразія, а только переносить его въ иное мѣсто; всякий шагъ въ установленіи тождества связанъ съ признаніемъ соответствующаго различія: сведеніе различія между А и В къ ихъ тождеству въ С предполагаетъ, что А есть С+х, а В есть С+у, т.-е. вводить соответствующее различіе между остатками отождествленія—х и у. То упрощеніе, которое производится отвлеченнымъ знаніемъ, есть всегда, такъ сказать, очищеніе, которое собираетъ однородное

въ одно мѣсто и выдѣляетъ изъ него неоднородное; но какъ мало физическое очищеніе какого-либо предмета можетъ уничтожить то, отъ чего предметъ очищается, такъ же мало и логическое очищеніе можетъ дѣйствительно уничтожить или уменьшить многообразіе. И логическое упрощеніе правомѣрно именно лишь постолку, поскольку оно не забываетъ своей относительности и не выдаетъ себя за абсолютное устраненіе многообразія.

Такимъ образомъ, отвлеченнное знаніе можетъ только преобразовывать многообразіе, т.-е. представлять его въ иной, именно логически анализированной формѣ. Но оно никогда не можетъ дѣйствительно объяснить многообразіе, т.-е. показать его необходимость, во-первыхъ, потому, что все фактическое не разложимо на общее, а только выводимо, на основаніи общихъ связей, изъ иного, фактическаго же, и, во-вторыхъ, потому, что логическій анализъ, постигающій многообразіе какъ проявленіе общаго, всегда даетъ ирраціональный остатокъ, содержащій въ иной формѣ то же многообразіе. Никакой сложный комплексъ никогда не можетъ быть съ необходимостью выведенъ изъ чего-либо единаго; онъ можетъ быть понять лишь какъ продуктъ скрещенія или взаимодѣйствія нѣсколькихъ простыхъ элементовъ, при чемъ самый фактъ *встрѣчи* этихъ элементовъ остается необъясненнымъ и необъяснимымъ.

Въ связи съ этимъ стоитъ и неразрѣшимость для отвлеченнаго знанія второй основной задачи познанія—объясненія формы связи или отношений между элементами. Отвлеченнное знаніе, какъ мы старались намѣтить выше, состоить въ анализѣ, т.-е. въ расчлененіи сложнаго цѣлаго на его отдѣльные элементы и въ разсмотрѣніи этого цѣлага какъ совокупности его раздѣльно мыслимыхъ частей, при чемъ итогъ отвлеченнаго разсмотрѣнія мыслится адекватнымъ своему предмету, т.-е. сложному цѣлому, какъ таковому. Но со временеми Лотце мы знаемъ, что всякое цѣлое есть не сумма, а сложный комплексъ признаковъ, нѣкоторая ихъ функция, не выражимая одной формулой для всѣхъ случаевъ. Не трудно, однако, уяснить, что характеръ этой функциональной связи неуловимъ для отвлеченнаго знанія. Тотъ категоріальный синтезъ, который дѣйствительно объединяетъ отдѣльные признаки въ своеобразное сложное цѣлое, самъ по себѣ не можетъ быть отвлеченно расчлененъ, ибо онъ есть именно реальная связь признаковъ, а не какой-либо особый, дополнительный признакъ или совокупность

ихъ. Категоріи, какъ говорилъ Аристотель, могутъ быть только предикатами, а не субъектами сужденій; а это значитъ, что онъ не могутъ быть сами анализированы въ сужденіи. Категоріи суть формы отношений, какъ таковыхъ, т.-е. понятія, смыслъ которыхъ исчерпывается формой связи между элементами реальности и которые внѣ этой связи не имѣютъ никакого самостоятельного содержанія. Онъ скрываются въ связкѣ сужденія и объединяютъ признаки; онъ суть, говоря языкомъ Канта, „условія возможности“ сочетанія признаковъ, и потому сами не могутъ быть познаны. Это обстоятельство нисколько не затрудняетъ отвлеченное знаніе въ частныхъ наукахъ, которая никогда не доводятъ анализъ до послѣдняго конца, не направляютъ его на внутреннюю основу сочетанія реальныхъ признаковъ; но въ метафизикѣ оно оказывается весьма чувствительно. Когда мы разлагаемъ реальность на простѣйшіе отвлеченные элементы и стремимся дойти до конца въ такомъ объясненіи, мы теряемъ всякое основаніе связи между этими элементами, и категоріальный синтезъ какъ бы испаряется изъ нихъ. Ибо онъ лежитъ не въ содержаніи самихъ элементовъ, и не есть особый, дополнительный элементъ реальности, а есть ихъ живая связь, исчезающая при попыткѣ мыслить весь міръ какъ совокупность простѣйшихъ отвлеченныхъ содержаній. Послѣднимъ итогомъ отвлеченного анализа дѣйствительности, въ силу внутренней логической необходимости, является атомистическое мировоззрѣніе (въ широкомъ смыслѣ слова): раздробленіе міра на простѣйшія безсодержательные точки, которая именно въ силу своей абсолютной простоты не содержитъ въ себѣ основанія для многообразной связности и дѣйственности бытія, и надъ которыми какъ бы витають управляющіе ими „законы“. Чѣмъ точнѣе, т.-е. раздѣльнѣе, мы познаемъ элементы, тѣмъ менѣе мы понимаемъ, откуда берутся отношенія между ними и почему эти отношенія именно такія, а не иные.

Еще яснѣе это обнаруживается въ отношеніи того, что можно назвать формой многообразія въ узкомъ, такъ сказать, эстетическомъ значеніи этого понятія—въ отношеніи формы, какъ такой взаимозависимости, которая воспринимается, какъ впечатлѣніе съ особымъ содержаніемъ. Типомъ формы въ этомъ смыслѣ является музыкальная гармонія или мелодія—то особое впечатлѣніе, которое сознается при одновременномъ или послѣдовательномъ восприятіи нѣсколькихъ звуковъ; но, конечно, во всякомъ безъ исклю-

ченія воспріятіи въ большей или меньшей мѣрѣ присутствуетъ такая форма. Картина не есть совокупность красочныхъ пятенъ на полотнѣ, общий обликъ человѣка не есть сумма отдѣльныхъ его чертъ, и даже простѣйшая геометрическая фигура не исчерпывается совокупностью образующихъ ее линій. Но ясно, что отвлеченный анализъ долженъ разматривать все сложное, какъ совокупность частей, и потому вынужденъ игнорировать форму или признавать ее „психологической иллюзіей“. Здѣсь, однако, надо повторить сказанное уже выше; какъ бы правильно ни было, съ методологической точки зрењія, такое самоограниченіе — ибо оно вытекаетъ изъ природы этой формы знанія,—оно не въ правѣ выдавать себя за абсолютное рѣшеніе вопроса; оно лишь отодвигаетъ непознаваемое въ иную область; и даже если бы форма была признана иллюзіей, то требовалось бы объяснить ее, по крайней мѣрѣ, какъ психологический фактъ, и тогда здѣсь вновь возникла бы совершенно та же проблема, ибо въ *содержаніи* представлениія, конечно, ничего не мѣняется отъ того, признаемъ ли мы его объективнымъ или субъективнымъ.

Итогъ этихъ соображеній сводится къ тому, что отвлеченное знаніе, какъ таковое, не можетъ объяснить,—т.-е. понять, какъ необходимо,—ни многообразія качествъ какой-либо реальности, ни отношений и своеобразной формы связи между ними. Этимъ, на первый взглядъ, отрицается всякая цѣнность отвлеченного знанія,—что было бы вопіюшимъ противорѣчіемъ общепризнанному и подтвержденномъ на практикѣ объективному значенію научнаго знанія. Намъ могутъ также сказать, что мы охарактеризовали лишь формально-логическую сторону знанія, не коснувшись реальной ея стороны, и что поэтому, такъ сказать, стучались въ открытую дверь, такъ какъ недостижимость знанія одними лишь формально-логическими операциями есть общеизвѣстная истина. Остановимся сначала на первомъ возможномъ выраженіи.

Цѣнность отвлеченного знанія — и притомъ не только практическая, но и объективная — настолько безспорна, что доказывать ее нѣть надобности; время, когда можно было, вмѣстѣ съ Гегелемъ, свысока смотрѣть на „разсудочность“ и видѣть въ ней лишь уклоненіе отъ истиннаго знанія, давно прошло, и возрожденіе его — не въ интересахъ истинной философіи; теоріи прагматизма, усматривающія въ отвлеченномъ знаніи полезное для жизни условное мнѣніе, должны быть также отвергнуты, такъ какъ упускаютъ

изъ виду самоочевидность и потому абсолютную достовѣрность законовъ отвлеченного знанія. Но наши соображенія совсѣмъ не имѣли въ виду отвергнуть научное знаніе вообще, а должны были лишь показать, что отвлеченное знаніе, взятое изолированно отъ иныхъ формъ и источниковъ знанія, т.-е. какъ нѣчто *самодовльющее*, не достигаетъ цѣли знанія. Оно всегда живеть и питается на счетъ *иного*, отличного отъ него знанія, и именно въ этомъ живомъ сочетаніи съ конкретнымъ почерпаетъ свою силу. Лишь когда оно стремится стать всеобъемлющимъ и абсолютнымъ, т.-е. вобрать въ себя и переработать по своимъ законамъ то, что образуетъ его основу, оно какъ бы истребляетъ само себя и потому теряетъ силу. Въ самомъ дѣлѣ, въ основной формѣ отвлеченного знанія, въ сужденіи, *основаніемъ* знанія является субъектъ сужденія, т.-е. то, что еще не познано отвлеченно и *надъ чѣмъ* работаетъ дискурсивная мысль. Слѣдовательно, сложное цѣлое, какъ таковое, есть источникъ всякаго знанія. Но и содержаніе знанія, выражаемое въ предикатѣ, есть лишь въ идеалѣ простѣйшій, неразложимый признакъ; фактически всякое *понятіе*, достигаемое отвлечениемъ, есть также сложный комплексъ, лишь немногія стороны котораго логически фиксированы. Въ этой еще нерасчененной сложности частей сужденія лежитъ—для реального познанія—основаніе связи между ними. Основаніемъ отвлеченного познанія является то, что еще отвлеченно не опознано,—конкретное реальное цѣлое. Пока анализъ не доведенъ до конца—а фактически онъ никогда не доводится до конца,—онъ вполнѣ правомѣренъ, какъ частичное выраженіе истины. Но всякий такой анализъ опирается на сужденія, которые въ свою очередь должны опираться уже на нѣчто, такъ сказать, *металогическое*.

Въ чѣмъ состоитъ это металогическое основаніе всего логического? Отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтомъ на возраженіе, что формальными операциами мышленія не исчерпывается научное познаніе. Само по себѣ это возраженіе, конечно, вполнѣ справедливо. Но если при этомъ имѣется въ виду, что къ логическому анализу долженъ присоединяться, въ видѣ особаго источника знанія, опытъ, то это основано на смѣшеніи психологической и логической точекъ зрѣнія. Съ логической точки зрѣнія опытъ не данъ намъ отдельно отъ того отвлеченного анализа, съ помощью которого мы познаемъ данное, хотя психологически мы, конечно, должны сначала „увидать“ что-либо, и лишь

потомъ можемъ „размышлять“ о немъ. Вѣдь самый актъ усмѣтрѣнія или „опыта“ логически есть не что иное, какъ анализъ, и выражается въ формѣ (высказанного или безмолвнаго) сужденія; пока я ничего не распознаю, т.-е. не расчленяю, мнѣ и не „дано“ ничего, и мнѣ дано ровно столько, сколько я, въ каждый данный моментъ, распознаю. Поэтому „опытъ“ и „мышленіе“, съ точки зрењія своего объективнаго содержанія, означаютъ одно и то же, и отличеніе „формально-логической“ дѣятельности отъ реально-познавательной — *въ предѣлахъ самого отвлеченного знанія* — не имѣть никакого смысла. Если, тѣмъ не менѣе, это различеніе остается глубоко существеннымъ, то это — не потому, что психологически акту мышленія предшествуетъ актъ воспріятія, а потому, что отвлеченному знанію, какъ таковому (какъ оно дано въ неразрывной связи „опыта“ съ „мышленіемъ“), логически предшествуетъ *интуитивное знаніе*. Нашъ выводъ относительно отвлеченного знанія нисколько не мѣняется отъ того, что оно психологически опирается на „опытъ“ — по той простой причинѣ, что самъ по себѣ опытъ, какъ извѣстно, не даетъ какого-либо общаго и необходимаго знанія. Но плодотворность и объективное значеніе отвлеченного знанія могутъ быть показаны лишь уясненіемъ его связи съ интуитивнымъ или конкретнымъ знаніемъ.

То, что образуетъ исходную точку для научнаго познанія въ узкомъ смыслѣ слова, т.-е. для дальнѣйшаго расчлененія и переработки, не есть ни безформенный сырой материалъ, какое-то еще невѣдомое X, ни совокупность отдѣльныхъ, расчлененныхъ элементовъ, а есть живое „единство многообразія“ — картина, которая всегда содержитъ въ большей или меньшей степени многообразіе и вмѣстѣ съ тѣмъ единство или объединенную систему единствъ. Чисто логическому расчлененію предшествуетъ незавершенное расчлененіе, которое какъ бы дано на фонѣ всеобщей связи и не отрываетъ отдѣльныхъ элементовъ отъ того сплошного цѣлаго, въ которомъ они находятся. Первоначальное содержаніе аналогично художественному въ томъ смыслѣ, что усматриваетъ частное въ неразрывной связи съ цѣлымъ, какъ бы пропитанное „общимъ впечатлѣніемъ“. Для отвлеченного знанія каждое качество, напр., цвѣтъ каждой вещи, имѣетъ свое собственное содержаніе, независимое отъ той среды, на фонѣ которой оно выдѣляется. Для интуиціи это качество неотдѣлимо отъ окружающихъ его иныхъ данныхъ и есть какъ бы лишь оттѣнокъ общаго многообразія, несо-

знаваемый виѣ послѣдняго. Это содержаніе знанія по самому существу дѣла логически неизъяснимо; оно можетъ быть лишь пережито черезъ фиксацію вниманія на немъ. Но именно оно, а не „опытъ“ въ обычномъ смыслѣ, какъ совокупность отдѣльныхъ элементовъ, образуетъ не только психологическую исходную точку всякаго дальнѣйшаго знанія, но и объективную основу для дѣятельности отвлеченнаго знанія. Безъ него немыслимо, прежде всего, образованіе познавательно-цѣнныхъ понятій. Какъ извѣстно, съ чисто логической точки зрења понятіе *существенного признака* совершенно произвольно: любой признакъ можетъ быть объявленъ существеннымъ и дать начало соответствующему понятію. И хотя несомнѣнно, что въ жизни обращается вниманіе на признаки, въ какомъ-либо отношеніи практически интересующіе человѣка, но возможность отъ такихъ произвольныхъ понятій восходить къ понятіямъ, отмѣчающимъ объективно-существенные черты реальности, предполагаетъ все же способность интуитивно улавливать моменты, которые имѣютъ внутреннее, самодовлѣющее значеніе для уясненія дѣйствительности. Здѣсь въ цѣломъ, въ „общемъ впечатлѣніи“ непосредственно усматривается какъ бы доминирующее значеніе нѣкоторыхъ его моментовъ — значеніе, невыводимое изъ отвлеченнаго содержанія признаковъ, но ясное на фонѣ общей картины бытія. Таково же условіе и всякаго индуктивнаго умозаключенія. Достаточно извѣстно, что всякая индукція, основана на научномъ тактѣ, на томъ, что еще Аристотель называлъ *ἀγωγὴ* — на первоначальномъ, неопределѣлимомъ для логического метода уловленіи и обособленіи той группы фактovъ, между которыми предполагается наличность какой-либо связи. Этотъ актъ уловленія необходимыхъ реальныхъ связей есть не просто психологический процессъ, который не содержитъ въ себѣ основанія правомѣрности своего итога. Напротивъ, если ни опытъ (въ обычномъ смыслѣ констатированія опредѣленныхъ содержаній), ни логический анализъ соотношенія между данными содержаніями, не даютъ основанія для установленія необходимой реальной связи, т.-е. для индуктивнаго умозаключенія, то мы должны допустить, что послѣднее опирается на металогическое основаніе, т.-е., что истинность общаго синтетического сужденія усматривается въ интуитивно осознанной цѣлостной картинѣ бытія. Это предносилось уже Канту, когда онъ въ „Критикѣ силы сужденія“ обусловливалъ возможность индукціи допущеніемъ эстетико-телеологической гар-

моні въ природѣ. Такимъ образомъ, каждый шагъ реальнаго познанія—каждое образованіе новаго понятія и каждое высказываніе общаго синтетического сужденія—опирается на интуицію. Лишь этимъ объяснимъ парадоксъ, что въ синтетическомъ сужденіи неопознанная сторона дѣйствительности служить основаніемъ для отвлеченаго знанія: предикать такого сужденія невыводимъ изъ субъекта, какъ отвлеченаго понятія, но все же усматривается въ немъ черезъ интуитивное осознаніе предмета, какъ неисчерпаемаго живого единства многообразія. Выведеніе многообразія изъ единства и постиженіе отношеній и формъ связей между элементами невозможно, поскольку цѣлостная картина бытія уже раздроблена на отвлеченные части, но возможно и фактически совершаются на основѣ интуиціи, т.-е. непосредственнаго конкретнаго усмотрѣнія. Конечно, теорія познанія, въ качествѣ провѣрки отвлеченаго знанія его же собственными критеріями, не можетъ признать такую интуицію логическимъ основаніемъ знанія и усматриваетъ въ ней лишь психологический продуктъ, требующій оправданія. И само собою разумѣется, что интуиція не есть *логическое* (въ узкомъ смыслѣ слова, т.-е. отвлеченное) основаніе, ибо, какъ указано, она по самой своей природѣ *металогична*; но требованіе ея отвлеченной провѣрки неосуществимо и, сверхъ того, упускаетъ изъ виду, что вѣ связи съ интуиціей немыслимо само отвлеченное знаніе.

Основой отвлеченаго знанія является, такимъ образомъ, само конкретное или художественное знаніе. Процессу отвлеченаго анализа предшествуетъ процессъ конкретнаго постиженія какой-либо части даннаго, какъ продукта или проявленія сложнаго цѣлаго. И отвлеченное знаніе, поскольку оно въ понятіяхъ и сужденіяхъ выражаетъ реальную необходимость, только фиксируетъ своими средствами и, такъ сказать, на своемъ языкѣ то, что было первоначально интуитивно усмотрѣно. Но всякая такая фиксация, поскольку она сама служить исходной точкой для дальнѣйшаго познанія, въ известномъ смыслѣ разрушаетъ свое собственное основаніе, осушаетъ источникъ, изъ которого она сама почерпаетъ свою силу. Психологически это выражается въ томъ, что всякий новый шагъ въ познаніи никогда не можетъ быть простымъ умозаключеніемъ изъ готовыхъ продуктовъ отвлеченаго знанія, а опирается всегда на новую, самобытную интуицію. Различіе между самостоятельными мыслителями и „книжниками“ въ томъ и состоитъ, что первые обладаютъ даромъ забывать объ отвлеченныхъ знаніяхъ и непред-

взято погружать взоръ въ живую стихію бытія, усматривать, какъ говорить Гёте, „теорію въ самихъ фактахъ“. „Умозаключать умъютъ всѣ, судить—немногіе”—говориль Шопенгауэръ; и смыслъ этого мѣткаго утвержденія уясняется сполна лишь изъ того, что всякое первоначальное суждение истекаетъ изъ интуїціи.

И если отвлеченнное знаніе имѣеть своей исходной точкой знаніе конкретное, то послѣднее должно быть также и его завершеніемъ. Въ своемъ послѣднемъ итогѣ, въ метафизикѣ, отвлеченнное знаніе неизбѣжно наталкивается на свою собственную ограниченность, на невозможность, черезъ раздробленіе на обособленные элементы, постигнуть внутреннюю необходимость всего сущаго. Гдѣ дѣло касается постиженія цѣлаго, гдѣ, слѣдовательно, уже не остается инстанціи, на которую можно было бы переложить ирраціональные остатки рациональнаго анализа,—тамъ съ необходимостью уясняется, въ той или иной формѣ, ирраціональность сущаго и односторонность его отвлеченнаго постиженія. Здѣсь логической мысли неотвратимо предстаетъ трудность, которую на промежуточныхъ этапахъ своего пути она могла или даже должна была игнорировать: обособленные элементы реальности либо случайны въ своемъ содержаніи и въ своихъ отношеніяхъ, либо же должны синтетически вытекать изъ природы конкретнаго цѣлага. И такъ какъ первая часть дилеммы противорѣчитъ требованію закона достаточнаго основанія, то признаніе второй ея части становится обязательнымъ. Все частное должно быть постигнуто, какъ проявленіе единой конкретной сущности, какъ творческое обнаруженіе развивающагося живого цѣлага или единства. Но это, какъ мы видѣли, невыразимо отвлеченно, а возможно лишь въ формѣ конкретнаго созерцанія индивидуальнаго въ его внутренней связи съ цѣлымъ. Отвлеченная метафизика невозможна не потому, что для нея недоступна „вещь въ себѣ”—которая, въ сущности, есть цѣликомъ ея же собственное созданіе—а потому, что отвлеченнное знаніе по самой своей природѣ частично и, доведенное до конца и распространенное на цѣлое, съ неизбѣжностью приходитъ къ сознанію своего безсилія. Метафизика не есть, конечно, „поэзія понятій“, какою ее хотѣлъ изобразить скептицизмъ: вѣдь это словосочетаніе само по себѣ противорѣчivo и безсмысленно; но она возможна лишь въ формѣ художественнаго прозрѣнія бытія въ его живомъ единствѣ, въ формѣ преодолѣнія понятій интуитивнымъ созерцаніемъ.

Мы приходимъ къ выводу, что художественное или конкретное

знаніе есть первая и последняя форма знанія, т.-е. его первичная основа. Художественное творчество последовательно, не уклоняясь отъ своего основного пути, раскрываетъ интуитивно данную взаимозависимость явлений. Дискурсивное мышленіе, отправляясь отъ точки, общей ему съ конкретнымъ знаніемъ, отвѣтвляется отъ него, но внутренно питается черезъ этотъ свой корень, погруженный въ интуицію, и въ послѣднихъ своихъ итогахъ должно вернуться къ своей исходной точкѣ. Самостоятельная цѣнность его пути, опредѣляемаго логическими законами мышленія, состоитъ въ возможності съ совершенной достовѣрностью оперировать надъ фиксированными общими элементами бытія и, слѣдовательно, распространять добытое знаніе съ одного случая на другой. Но этотъ міръ фиксированныхъ общихъ элементовъ—міръ идей,—сохраняя абсолютную самоочевидность въ своей идеальной сфере, все же не улавливаетъ внутренней необходимости и связности конкретнаго бытія. Напротивъ, конкретное знаніе живетъ какъ бы въ самой стихіи бытія и выражаетъ всю его полноту и связность; но мысля общее въ живой связи съ индивидуальнымъ, оно не допускаетъ фиксациіи своихъ итоговъ, никогда не даетъ прочныхъ результатовъ, отдѣлимыхъ отъ самого акта познанія и способныхъ служить основой для опредѣленного и достовѣрного примѣненія къ другимъ случаямъ. Отвлеченнное и конкретное знаніе суть какъ бы статика и динамика человѣческаго постиженія, при чемъ статическая отношенія, подчиняясь особымъ законамъ, въ конечномъ счетѣ все же лишь своеобразно выражаютъ динамические процессы и зависятъ отъ нихъ. Наука ориентируетъ насъ въ общихъ условіяхъ бытія; искусство наставляетъ насъ уразумѣвать текущее многообразіе конкретной жизни и усматривать вѣчную основу каждого мгновенія и каждого частнаго проявленія.

„Такъ, для безбрежнаго покинувъ скучный долъ,
„Летитъ за облака Юпитера орелъ,
„Снопъ молнии неся мгновенный въ вѣрныхъ лапахъ“.

Приведенные выше соображенія могли быть скорѣе лишь афористически намѣчены, чѣмъ обстоятельно обоснованы. Но, быть можетъ, и въ этой несовершенной формѣ они окажутся небезполезными для уясненія вопроса объ отношеніи между отвлеченнымъ знаніемъ и конкретной интуиціей—вопроса, который образуетъ одну изъ самыхъ острыхъ и настоятельныхъ проблемъ современной философіи.

С. Франкъ.